

МИХАИЛ МАЯЦКИЙ

Когнитивный капитализм — светлое будущее научного коммунизма?

— Это слишком человеческая логика. Ты же не экономист, Рама, ты вампир. Сосредоточься.

*В. Пелевин*¹

Наше политическое воображаемое сегодня настолько обнищало, что оно не в состоянии предложить нам пусть хоть идею общества, которое мы бы себе желали и за которое стоило бы бороться, что как раз и означает, что мы предоставляем неолибералам безраздельно решать, каким будет «будущее общество».

*П. Дардо, К. Лаваль,
Э. Мухуб Мухуд*²

I

В период излета оптимистического «волюнтаристского» эсхатологизма («Нынешнее поколение ... будет жить ...»), общественный разум решил приструнить волю и выбрать для артикуляции общественного идеала формулы поосторожнее и пообтекаемее. На место энтузиазма масс во главу угла решено было поставить *научное управление обществом*³. Как вся-

¹ В. Пелевин, *Амфи В*, М.: Эксмо 2006.

² P. Dardot, Ch. Laval & E. Mouhoub Mouhoud, *Sauver Marx? Empire, multitude, travail immatériel*, La Découverte 2007.

³ Спорадически употреблявшееся и прежде (и не только по-русски: см. scientific management (of factory, economy, society etc.), восходящее по меньшей мере все

кая идеологическая мода, эта породила по всей стране массу книг, диссертаций, лекций и прочих «методологических семинаров», посвященных разным аспектам темы.

Наиболее же изощренный отряд философов⁴ выдвинул — в это же время или чуть позже — теорию «всеобщего труда». Имелась в виду некоторая псевдо-конкретизация установки «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Всеобщим именовался труд, в идеале не мотивированный ничем, кроме тяги к реализации своих способностей. Его продукты предположительно не обменивались, а брались вволю (ну, или вплоть до исчерпания запаса). Теория эта не была придумана, а, как, впрочем, любая тогда теория, жила на Марксе. Например, на этом пассаже из него:

...следует различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль, каждый из них переходит в другой, но между ними существует также и различие. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обуславливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов⁵.

Конечным продуктом, или *собственно* продуктом всеобщего труда объявлялся сам его субъект, личность. Всеобщий труд противопоставлялся труду, традиционно *разделенному* на физический и интеллектуальный. Он был, конечно, прежде всего интеллектуальным, но *не в качестве* социально отделенного от материального, а в качестве освободившегося от векового проклятия физического труда. Дискуссии вызывали лишь частности: например, совпадает ли всеобщий труд с духовным производством в принципе или только сейчас, на исторически ограниченном отрезке времени и т. д. Маркс отличал всеобщий труд и от *совместного* как ограниченного только субъектами наличной кооперации, тогда как всеобщий труд брал в сотрудники все мыслящее человечество во всей его истории, живое и мертвое. Всеобщий труд — как и подобает труду творцов, изобретателей и открывателей — структурировался законами уже не рабочего, а свободного времени, поэтому никогда не терял своей конкретности, не ре-

к тому же Ф. Тэйлору, т. е. к рубежу веков), это выражение получило хождение после выхода одноименной книги известного философа (или, скажем, идеолога) и редактора «Правды» В. Г. Афанасьева (Политиздат 1968). Вскоре под этим названием стал издаваться (и издавался по 80-е годы включительно; вышло не меньше 18 его выпусков), регулярный сборник Академии общественных наук при ЦК, а также — с вариациями — масса других изданий и монографий. Затем это выражение было заменено более скромным, уже не настаивавшем на научности: «социальное управление».

⁴ В этом «отряде», разумеется, не было никакого единства и состоял он из людей весьма разных. В качестве их представителей можно назвать В. С. Библера, Г. С. Батищева, В. М. Межуева, С. Н. Мареева.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, т. 25 (1), с. 116.

дуцировался механизмом рынка к абстрактному труду. Моделью для него должна была служить наука, т. е. такая деятельность, где продукт неотчуждаем от производителя, где между производителями разных поколений и даже между живыми и мертвыми устанавливается бескорыстная кооперация, где обладание одним человеком некоего продукта не исключает других пользователей и т. п.

Озираясь четверть века спустя и совсем из другого эона, и к тому же и подключая оптику «когнитивных капиталистов», видишь в теории «всеобщего труда» уже не просто очередной *theologoumenon* так называемого «интеллектуального марксизма». В ней видится попытка, пусть и чисто теоретическая, реванша интеллигенции: в стране, где пролетариат совсем еще недавно официально сменил гнев диктатуры на милость однопартийной системы, эта теория предлагала ни больше ни меньше как выбрать идеальной моделью труда — труд ученого! Она была неким сообщением, адресованным власти: пора менять лошадей, пора ставить на науку, пора ценить не только рабочего, но и инженера (пока он еще не пошел в рабочие!), не только грубость силы, но и тонкость знания.

В вопросе о всеобщем труде коммунистические представления о собственности достигали предельной доходчивости. Если простому обывателю отказ от частной собственности непросто было применить к движимости и недвижимости, то зато всем было понятно, что нелепо посягать на обладание идеей или знанием, которое само выработано в неизбежной опоре на целые поколения известных и неизвестных лиц. Вскоре, когда официальные документы хором заговорили о научно-технической революции, теория «всеобщего труда» служила не столько оплотом сопротивления технологическому детерминизму (*alias* редуционизму), свойственному официальному дискурсу о «соединении НТР с преимуществами социализма», сколько прибежищем для анти-технотронщиков, для новых «гуманистов».

II

Имел ли Маркс в виду науку своего общества? Если да, то прав ли был он, полагая, что наука — видимо, в силу какого-то ей присущего этоса — не подчиняется общим экономическим законам? Если, нет, то считал ли он, что антиэкономическая экономика будущего общества будет равняться на — тоже идеальную — науку этого будущего общества? Оставим эти вопросы марксоведам и зададимся другим: в какой степени реальная советская наука могла быть моделью (или хотя бы иллюстрацией) всеобщего труда? В весьма большой. Например, интеллектуальная собственность действительно не защищалась никак и вообще не была темой, т. е. действительно советский ученый публиковал все, что мог, и брал сведения, какие только мог и где только мог. Сотрудниками выступали, действительно, свои и чужие, живые и мертвые. Но у этой безусловной и безоговорочной кооперации были свои внешние пределы: железный занавес (правда, не аб-

солютно не проницаемый, и в обе стороны) и цензура, простиравшаяся от страшных тайн часто вполне мальчиш-кибальчишеского толка до технологических и оборонных секретов военно-промышленного комплекса, составлявшего во многом, впрочем, политический и экономический смысл *всей* этой науки. Внутренних же пределов, пожалуй, что и не было: осененный не просто аурой, а таким символическим полярным сиянием, советский ученый с энтузиазмом отнимал у природы ее загадки, открывал и изобретал. И не только он: в меру сил, знаний и свободного времени (этого «подлинного времени развития творческих сил») открывал и изобретал и простой гражданин. Эта деятельность принимала в масштабах страны характер столь бурный и неистовый, что впору видеть в ней настоящую «проклятую часть», избыток, жертву, приносимую на алтарь будущего. Почтовые ящики академических и иных НИИ были переполнены разнообразнейшими предложениями — от усовершенствования открывашки до спасения цивилизации от очередного бедствия, заводские бюро рационализации и изобретательства были завалены проектами от мастеров и простых рабочих, необузданно использовавших, формализовавших, «кодировавших» в них свой опыт, свои «неявные» знания⁶. И такие знания отнюдь не были уделом одних рабочих. Весь СССР был гигантским питомником по выращиванию такого «неявного знания». Теория никогда особенно не скрывала, что имела к практике отношение столь отдаленное, что без проницательности, наития, смекалки и подлинно одиссеевой находчивости пытаться ориентироваться на практике было абсолютно безнадежно. И это касалось, конечно, далеко не только технических инноваций, но и повседневного поведения в социальном поле, (дез)организованном⁷ крайне запутанно, изощренно, со специфическим административным коварством и с огромным числом писанных (но не выполняемых) и неписанных (но строго выполняемых) правил.

С внедрением, как известно, было посложнее. Именно невнедримость подавляющего большинства этих проектов воплощала их подлинно *беспольный*, антиутилитарный, незаинтересованный характер. Их авторы воистину производили только самих себя, и певцы «всеобщего труда» лучшего удела для (советского) человека и выдумать не могли. Но достаточно ли человеку *такого* целеполагания? Можно ли было мечтать побороть отчуждение, отказавшись от созидания, т. е. искоренив самое овнешнение? Что было достигнуто несомненно, так это фатальное когнитивное отставание.

С момента революции (которая была и моментом начала, несомненно, одной из самых масштабных культурных революций в истории) в стране, где светская ученость и университет были еще феноменами молодыми (от силы двухвековой давности), наука стремительно набрала необыкновен-

⁶ О важности этого «unorganized knowledge», наряду с М. Полани, писал Ф. Хайек: Ф. А. Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, *Amer. Econom. Review* XXXV, 4 (1945).

⁷ «Хаосмотическом», сказал бы Делез вслед за Джойсом.

но высокий символический престиж. Он отливался и в некоторые материальные привилегии (одной из них было, например, вообще существование Академии Наук), но вознаграждение ученых в целом было низким, низким не абсолютно, а относительно — по сравнению с зарплатой рабочих, — а именно оно было установлено на том уровне, который сочло нужным это научно-эгалитарное общество. И ученые порой роптали, как роптала самая массовая и самая ущемленная интеллигентская триада инженеров-учителей-врачей. Да что толку? Самые «любимые артисты», самые популярные киноактеры и звезды эстрады, гастролировали себе по неуютной стране с кипятивником в чемодане. Только поверхностный наблюдатель может увидеть в этом контрасте между высоким престижем и низкой оплатой — противоречие. Во времена диктатуры пролетариата интеллигенции была готова работать за одно только данное ей разрешение, трудиться в его интересах. Затем пролетариат стал взыскивать с нее за радость творческого труда и присвоение богатств, накопленных человечеством. В этом смысле гегемон показал себя не просто рачительным хозяином, но и расчетливым бухгалтером экономики удовольствий: сподобился творению, будь добр пожертвовать денежный эквивалент радости творчества в пользу многомиллионных ударников монотонного труда. Мы тебе престиж (плюс прожиточное пособие), ты нам бесплатный труд. И такой вот тонкий учет, заметьте, был проявлен еще в эпоху, когда будущие теоретики «когнитивного капитализма» еще пешком под стол ходили.

Радость, однако, понималась не гедонистски, а преимущественно как «удовлетворение от выполненного долга», «глубокое удовлетворение» от вливания своего труда в труд своей республики и т. п. Пока идеология страны сохраняла инерцию революционного накала, это «упреждающее» или «опережающее» удовольствие (т. е. получаемое от наслаждения потомков, во имя которого выполнялся долг и вливался труд) обладало своей эффективностью. Ключевую роль в эрозии этого «бегства в будущее» сыграла война, стилизованная режимом в жертву во имя жизни как конечной цели. Отсюда и самоидентификация послевоенного поколения с той самой жизнью, во имя которой все эти ненапрасные жертвы были принесены. Это поколение уже пришлось уверять, что именно оно и станет тем «нынешним поколением советских людей», которое «будет жить при коммунизме». Оттепель носила поэтому уже четко ощутимый гедонистский оттенок.

Не настолько, однако, чтобы подсчитать, что инженер (врач, учитель) мог бы тянуть вверх общество *и своим потреблением*, будь у него к тому возможности. Сама идея потребления была чужда жертвенно-аскетическому духу «научного коммунизма», обреченного поэтому на раннее или позднее всемирно-историческое поражение перед лицом цивилизации удовольствия.

Вероятно, некорректно говорить вообще, применительно к социализму, об оплачиваемом труде. Зарплату можно назвать, скорее, гарантиро-

ванным минимумом. Это, как мы теперь знаем, не совсем то или даже совсем не то, что «когнитивисты» называют «гарантированным социальным пособием» (*revenu social garanti*) или «пособием на существование» (*revenu d'existence*), потому что они предлагают давать его не *за*, а *для*, не как оплату за труд, а как условие будущей реализации, не как вознаграждение, а как трамплин. Иначе говоря, они представляют его себе *безусловным*, т. е. даваемым не за некий результат, а по факту «беды появления на свет», самого «несчастья родиться»⁸. Но они его предлагают *своему* обществу, обществу со структурной безработицей, а я здесь вспоминаю общество, где разумом и волей народа была введена структурная занятость, где работали практически все. Разница же в зарплате была — по меркам современного капитализма — ничтожной: между минимальной и максимальной (официальной) расхождение было, наверное, в порядок. В этом смысле это действительно было эгалитарное общество.

Оторванность науки от производства была излюбленным мотивом партийной критики, но с высоты считанных истекших десятилетий видно, что именно этой — относительной — оторванности обязан успех фундаментальных исследований. Была ли Марксова оценка науки констатацией или только чаянием, ясно, что он не мог предвидеть и не предвидел всех деталей последующего развития технонауки. В значительной степени утратив ореол невинности (после катастроф XX века сохранить его было трудно), наука в капиталистическом обществе активно пошла на превращение знания в товар, согласилась на отказ знанию в особом статусе. Превратившись в предприятие, наука и со знанием стала обращаться, как это положено с товаром: создавая монополии, играя на конкуренции, скрывая информацию, искусственно создавая 'редкость'. Наука уже вовсе не ускользает от экономики, она стала новым полем экономической брани. Эти тенденции особенно усилились с 90-х годов и, скорее, всего не случайно. Может быть, не абсурдно предположить, что — не просто идеологический факт существования крупного социалистического государства, но, скорее, — наличие мощной научной державы, игнорировавшей, в частности, весь патримониально-правовой комплекс защиты интеллектуальной собственности, служило по отношению к этим тенденциям некоторым естественным сдерживающим механизмом.

Социальный престиж советской науки был тем более высок, что наука представала передовым отрядом в стране, которая вся руководилась (и, предположительно, жила) по науке. Само выражение «научный коммунизм» было, по меньшей мере, двузначным и означало как специальную науку, изучавшую общественный идеал и средства его достижения (синоним «марксизма»), так и само общество — социализм (коммунизм), развивающийся и управляемый научно. Наука в таком обществе занимала место куда более важное, чем «производительной силы», пусть даже «главной».

⁸ Я цитирую чорановское «*inconvenient d'être né*».

Она была ее «системным признаком»⁹. Она образовывала фундамент, стратегию и религию¹⁰ страны. Даже альтернатива мыслила себя в терминах «системы»: это слово было ключевым и в хипповской тусовке, и — наряду с со словом «методология» — в супертехнотронной игре Г. П. Щедровицкого, которая была тем же «научным управлением обществом», только управлением свободным, «незаинтересованным» и в упомянутом смысле «бесполезным».

В каком-то смысле вопрос о знании — центральный для понимания как жизни, так и смерти советского строя. Можно представить себе его историю не только как «революцию, пожирающую своих детей», но и как «культурную революцию, роющую себе могилу». Обучив читать, писать и считать в кратчайшие сроки миллионы людей, режим не мог всерьез мечтать контролировать, как их дети и внуки распорядятся этими чреватými последствиями умениями.

Применение науки и машин должно было освободить человека и его энергию. Здесь кончалась политэкономия и начиналась игра. Иначе говоря, здесь заканчивалось воображение теоретиков. Освободившимся от труда людям предоставлялась возможности заниматься самосовершенствованием и бегать вприпрыжку по колокольчиковым полям. В ожидании коммунистического рая разрешалось и не очень-то убиваться на работе. Общая занятость и низкая производительность труда — две стороны одной медали. В рабочее время разрешалось бегать, прыгать, спать, расти над собой и «общаться» (в очередях и не только), т. е. то, что *собственно* ожидается от времени свободного.

Научный коммунизм был современником и, во многом, партнером индустриального капитализма. Когда первый породил из своих недр скромный цветок теории «всеобщего труда», второй стал размышлять о *постиндустриальном* обществе. Каждый искал достойный выход из кризиса на практике и в теории.

III

Второе пришествие российского капитализма оказалось настолько внезапным, что по инерции он остался тоже немножко — научным. Не только планирующий и контролирующий госаппарат во многом остался в структуре своей неизменным, но и «общие блага» (и прежде всего высшее образование, наука) достались готовыми от прежних хозяев. Когда еще *general intellect* нынешнего общества станет вполне независим от своего предше-

⁹ На то, что для «научного управления обществом» необходим «системный анализ», указывал уже подзаголовок к упоминавшейся книге В. Г. Афанасьева.

¹⁰ Упомянем лишь научную харизму, которой идеология снабдила «корифея всех наук» и в разной степени других руководителей. Коллекционирование ученых степеней — занятие нередкое и до сих пор, как среди политиков, так и среди бизнесменов.

ственника? И каким еще он будет? Очевидно, что иным, совсем иным. Пока же за считанные годы изменился статус знания. По примеру героя «Generation П» не только поэты, но и ученые оказались вынуждены перекавалифицироваться в управдомы и маркетологи. Процесс этот *не* специфичен для России и с падением коммунизма связан, в лучшем случае, косвенно: как разочарование в науке — социальной, а заодно и во всякой. По крайней мере, естествоиспытательский и инженерный задор свойствен сегодня куда больше молодежи в младоиндустриальных, чем в постиндустриальных западных странах.

Как следует из «когнитивистского» анализа, присвоение капиталом «общих благ» тоже отнюдь не российская черта. Она, наоборот, может быть возведена в некий закон экстернатального (? экзогенного? гибридного?) развития: современный капитализм, как и предыдущий индустриально-колониальный, живет за счет присвоения *иного*: способностей индивида, общественных знаний, неявных умений и навыков и пр. Присвоение это всякий раз с насилием, только теперь все больше само право — защита интеллектуальной собственности — становится орудием этого насилия.

Излишне говорить, что и современный российский капитализм в этом смысле идет в ногу с международным: он тоже широко опирается на потенциал (прежде всего, образовательный) прежнего строя и в этом смысле абсолютно несамодостаточен. Предыдущее общество, действительно, не знало, что делать со своими инженерами. Но пока неизвестно, умеет ли нынешнее, *за пределами действия естественной инерции*, вообще их готовить. Впрочем, есть признаки того, что хотя ни обвал отечественной науки, ни коррупция высшего образования не остановлены, худшее, возможно, позади.

При взгляде через «когнитивную» призму на сам процесс перехода от старого строя к новому приватизация (как аналог конститутивного первоначального накопления) предстает прежде всего двумя своими основными «когнитивными» результатами. Во-первых, она представила *кооперацию* как нечто ненормальное и подлежащее нормализации (которая как раз и пришла в лице приватизации). На кооперацию легло тяжелое подозрение, что именно в ней и кроются все беды и исток экономической несостоятельности свергнутого общественного порядка. Приватизация стала — даром что дело происходит в «соборной» России — предельным в своей ясности знаком, сигналом и воплощением легитимации индивидуализма.

Во-вторых, сколь бы велика ни была в приватизации доля прямого насилия, определенная интеллектуальность — смекалка, хитрость, стратегическое мышление, здравый смысл, неординарность мысли — там тоже, несомненно, присутствовала. И вот другим важным результатом приватизации и стало то, что сам этот тип интеллектуальности, ее осуществивший, предстал теперь как основной, самый ценный, как критерий всех остальных. Эта «переоценка ценностей» имела следствием, что состоя-

тельность *всякого* интеллектуала стала измеряться его обладанием *этим* типом интеллектуальности. Лозунг «если вы такие умные, то чего вы такие бедные?» никогда не определял общую социальную атмосферу так, как сегодня. Считать ли феномен резкой валоризации маркетинговых способностей *в ущерб другим, в том числе и профессиональным*, болезнью роста и временной трудностью или же знаком новой эпохи?

Или другой вопрос, тоже касающийся того, как гений (российского) места столкнется с гением (когнитивно-капиталистического) времени: необходимо ли, фатально ли считать наличие у страны богатых природных ресурсов фактором, способствующим сворачиванию ее «когнитивного» профиля? Действительно, не проще ли, не сподручнее ли похерить вместе с научной одержимостью предыдущего режима и его непомерные технологические и научные амбиции и спокойно встроиться в международное сообщество на правах бензозаправщика?

Если говорить о других переменах последнего двадцатилетия, то можно отметить бесспорное приращение экономического знания масс: от глубоко «научной» макрополитэкономии социализма (каждый тезис которой вопиал: «к реальной экономике я отношения ни имею!») произошел гигантский скачок к микроэкономической образованности. Эта последняя оказалась, особенно у молодого поколения, тесно переплетенной с высокой консуматорной компетенцией. Технология потребления выказала свою огромную не только знание-, но и время-емкость. Потребление стало съедать огромную часть т. наз. свободного времени. Если при всей авторитарности прежнего режима, за пределами рабочего времени и в границах дозволенного (в пределах государственных границ, например), советский (молодой) человек сам определял (или тешил себя иллюзией, что определял) свой путь, то сегодняшнему (молодому) россиянину говорят, как жить, партия (которая по-прежнему — или снова — одна), реклама и телевидение. Российский капитализм и в этом не специфичен, если не считать некоторого локального колера.

Ибо если при социализме управление свободным временем было демонстративно нацелено на бесполезность, и в этой бесполезности, собственно, и виделся залог *свободы*, то новый капитализм отнесся к свободному времени граждан с присущим ему расчетом, извлекая из него выгоду, по меньшей мере, двоякую.

Во-первых, оказалось, что и его можно привлечь к производству, а именно: предлагая человеку учиться и переучиваться (что становится все нужнее и все ценнее производству); истолковывая как свободное то время, которое человек проводит *между* периодами занятости, т. е. в качестве безработного; заставляя его думать о работе 24 часа в сутки (ибо «думание» работника и думающие работники стали расти в цене); предлагая стирать грани между работой и досугом (в конце концов, и там и там сидишь перед экраном) и т. д. Во-вторых, работнику можно дать понять, что высший смысл и наилучшее использование свободного времени — это и есть потребление, что в свою очередь будет толкать вперед индустрию —

как вообще, так и в частности специальную для этих целей разработанную «индустрию свободного времени».

По «когнитивности» российский капитализм не отстает от западного и в том отношении, что породил массу новых высокоинтеллектуальных профессий или открыл неслыханный ресурс интеллектуальности в профессиях, дотоле считавшихся заурядными и рутинными. Конечно, поколению, сформировавшемуся в предыдущей парадигме (типа старорежимного автора этих строк) сразу трудно принять, что настоящими творцами стали считаться авторы рекламы (которые, чтобы защитить их от всяких сомнений, получили название «криэйторов»), а также разнообразные имиджмейкеры, фандрейзоры и прочие мерчендайзеры, а подлинное произведение искусства или культуры теперь положено видеть уже не в картине, спектакле, книге, а — в «проекте». Но ведь это смещение *внутри* цеха интеллектуального труда типологически сходно с произошедшим в труде ручном на уровне перехода от мастера к мануфактуре, при расщеплении компетенции мастера на чистое знание и чистое исполнение. Как *организатор* физического труда (предприниматель, менеджер, прораб) играет роль куда более важную в производстве, чем рабочий, так галерист и комиссар выставки играют роль значительно более важную, чем художник.

Некоторым (типа все того же брюзгливого автора) трудно принять близко к сердцу и новые заботы, присущие когнитивному капитализму. Например, тревогу деятелей «аудио-визуальных искусств», которые угрожают, если щедро не оплачивать их труды, вообще забастовать и *перестать творить*. Брюзгливая калоша склонна, не скрывая радости, видеть в таком исходе долгожданную, уже не чаянную перспективу пусть короткой, но передышки (а, может быть, даже и *тишины*). Но на то и существуют грамотные экономисты, чтобы как дважды два доказать калоше не только глубокую политнекорректность и вящую реакционность, но и экономическую несостоятельность ее взглядов.

Кои калоша нисколько не проповедует.

А всего только исповедует, дивясь тому, как за считанные десятилетия факел прогресса перешел из рук ученого, наивно полагавшего себя свободным от экономики, к «творцу», спокойно выменивающему свою свободу на наше рабство.